

не задеть крайне самолюбивого и мнительного литератора. Вот тут и логично предположить причину вдруг наступившего перелома, побудившего Страхова взяться за перо и превратить заметки «для себя» в исповедь «для Толстого». Пусть, мол, потомки их рассудят. Нечто вроде мести Страхова глубоко оскорбившему его литературному «приятелю»; он понимал, что все рукописи Достоевского и переписка Льва Толстого рано или поздно будут напечатаны. Но так ли уж Страхов был в этом уверен: ведь и рукописи горят и письма бесследно пропадают (вот и значительная часть переписки Страхова и Толстого утрачена) или перлюстрируются и подчищаются вдовами (а то и предаются огню); если уж Страхов был так встревожен, он, пожалуй, принял бы более надежные меры — сделал бы, к примеру, копии некоторых материалов, сдал бы их в архив той библиотеки, где работал, написал новые воспоминания. Но он этого не сделал, доверив потаенное одному Толстому. К тому же мы не располагаем какими-либо доказательствами, что Страхов эти записи читал и даже что был знаком с записной тетрадью Достоевского 1876—1877 годов. Гипотеза еще не факт и вряд ли когда-нибудь станет фактом. Причины тут, похоже, сугубо внутренние и лежат глубоко.

Далеко не всегда тайное становится явным. Есть вечные тайны и загадки. Немало сказано о дружбе-вражде Достоевского и Страхова Б. И. Бурсовым, Л. М. Розенблюм и другими. Кое-что тут удалось выяснить. Убедительно пишет о постоянных и фундаментальных разногласиях между коллегами-почвенниками Л. М. Розенблюм в монографии «Творческие дневники Достоевского». И все-таки остается загадкой резкая перемена отношения к Достоевскому, так злобно и неудержимо выражавшаяся в письмах Страхова Толстому. Эти письма удостоились самых резких эпитетов, на которые не скучились ошеломленная предательством «друга» семья вдова писателя и историки литературы (не только исследователи биографии и творчества Достоевского). И вдову и всех почитателей творчества писателя нетрудно понять: они с порога отвергали наветы и «клевету». Это их законное право. Тем не менее многое в сложнейших, запутанных отношениях Достоевского и Страхова остается непонятным, нелогичным, загадочным.

Письму предшествовала наконец-то высланная биография, по поводу чего следовала и обычная просьба критика: «...прошу Вашего внимания и снисхождения — скажите, как Вы ее находите».⁸⁸ Письмо же — это своеобразная исповедь воспоминателя и «маленький комментарий» к биографии, сильно озадачивший Толстого. Свое мнение о биографии Толстой откровенно высказать не мог, так как затруднительно было высказать о книге, представляющей собой в лучшем случае полуправду; комментарий в самом неприглядном свете выставлял как главного героя книги, так и ее автора, признававшегося, что решил подобно всем пожертвовать правдой: «...много случаев рисуются мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо правдивее; но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицовою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем!».⁸⁹

Что мог Толстой сказать о таких удивительных и больных признаниях «биографа» и «приятеля» Достоевского? Они противоречили всем основным принципам и убеждениям Толстого — художника, учителя, человека, главным божеством которого была Правда, считавшего, что ложь и умолчания особенно нетерпимы в литературе, о чем он, кстати, писал критику в январе 1877 года: «В жизни ложь гадка, но не уничтожает жизнь, она замазывает

⁸⁸ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 652.

⁸⁹ Там же. С. 653.